



ЛИТЕРАТУРНЫЙ САМИЗДАТ

ВЫПУСК ОДИННАДЦАТЫЙ · СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2003 ГОДА · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пред Рождеством –

Святые дни

И Сердце Бога ожидает,

И во вселенной

мы одни,

И впереди нас –

ночь святая.

Сочельник скоро

и Звезда,

Путеводительница Сердца,

И птицы рвутся из гнезда,

И нет ни каверзы,

ни смерти.

Божественная

всюду жизнь,

И слёзы Сердца

благодатны,

Благого ангела держись –

Дни нашей жизни

невозвратны.

Олег Охупкин

Жизнь мается, мнется, колготит, колотится, трется, топорщится, лезет изо всех щелей, бросается под ноги, перебегает дорогу, прёт как танк – на, возьми меня, попробуй на вкус, вот она, я, настоящая, единственная, пряная, пьяная, какая ни есть, а живая, не словесная, а телесная – ж и с т ь!

И настоящий поэт берет её и... Вот тут-то и случается самое важное или самое страшное...

Что получается из преображенной жизни? Вялоте-лые слова, скучно и редко расставленные на плацу страницы, или обжигающий захлеб признания-проповеди-исповеди-заклинания, всего, что и есть настоящий и стоящий жизни человекотекст? Тот самый текст, в котором уже поэт колотится о словесную преграду между ним и жизнью, и преграда эта тем нерушимей, чем поэт истинней, сильнее, свободней.

Могучий поэтический дар редко бывает приманкой удачи, на него не клюёт золотая рыбка. Он – в родстве со стихиями, им внемлет и им подвластен.

Быть свидетелем схлестки стихий – поэтической и земной – всё равно, что быть застигнутым в поле грозой – уповать можно только на Бога, авось, пронесёт!

Эта схлестка стихий в могучих стихах одного из лучших поэтов нашего времени – Олега Охупкина.

Поэта, чья душа уязвлена несовершенством мира, интеллект ясен, разум чуток, а стихи мудры и наивны... Пронзительная откровенность упований на Божий промысел и надежда на воплощение Божьего слова предстают читателю в единении со всею силою страстей, которыми может быть обуреваем русский человек. Не случайно влияние именно этого поэта всё чаще отмечаем мы, читая стихи не только стихотворцев его поколения, но и авторов нового времени.

Тамара Буковская

«Владимир Андреич посла ему много вина», –
написано в летописи. И у нас нет сомнений. –
И правда, какая его в том могла быть вина? –
Владимир Андреич послал ему много вина.

Потом он поехал на прежнюю отчину в Брест
в дождливую пору, раскисшей дорогой осенней,
когда вспоминаешь: «се повести временный блеск!» –
Вот так он поехал на прежнюю отчину в Брест.

Когда же в столетях наступит такая зима,
что сразу возьмётся стоять без знамен и знамений? –
И правда: то было бы всем непонятно весьма.
Нескоро, как видно, наступит такая зима.

Но он исцелился и милостью выполз на берег
сознания: милость Господня рукою незримой
вцепилась – и хрустнул, как тоненький лёд, его бред.
Так он исцелился и милостью вышел на берег.

И долго казалась застрявшая в горле стрела
вороньей крамоллой. И брезжило утро изменой.
Там чья-то торчала хоругвь, а кругом всё снега,
и долго казалась проткнувшая горло стрела.

Когда надеялся «на куны и на фрязи»,
дорожкой Лены я ходил, дорожкой Кати,
да их обеих поминать теперь нехстати.
Куда до Генуи повздорожали рейсы!
Нет на доске моей ферзя – хоть плачь, хоть смейся.
И аз являюсь, смеясь, – но стынет сердце.

Резную грацию и вензеля на пряжках
Она бы медленно внесла в безумство спящих,
да здесь немало без неё искусств напрасных. –
Здесь дикий Зверев рисовал свои шедевры,
здесь двери рваные вели в былые дебри,
где каждый пил и засыпал в объятых стервы.

Входи без ужаса в любые лабиринты.
Какие бы ни закружились балерины,
мы наши вальсы подыграем раболепно.
Но шифр, но шарф, и шлейф, и фальшь – всё в виде фарша.
Пусть эта фраза пляшет так: «Нет в сердце фарса,
и аз озябший злюсь в слезах, – но в рифме арфа».

Чтобы не быть голословным, а говоря короче
(чтобы не быть многословным), **чтобы не быть голым**,
я драпируюсь во всё, что мы вместе с тобой бормочем,
я беру доказательства из твоих **логум**.

Пошёл я гулять в чистое поле.
За первым полем увидел второе.
Прошёл второе – встретил козла
Вышел в третье – а там Москва.
Глухое поле отваги и брани.
Поперёк и вдоль овраги да ямы.
На семи холмах – лопух да бурьян.
Восьмая Москва – алый мак-дурман.
Сидит в ней девушка на вокзале.
Голубыми плачет она глазами.
Плачет над мёртвой гнилью-трухой.
Чей-то череп гладит рукой.
– По ком, скажи мне, твои рыдания? –
– Убила я красивого парня.
Он изменил. Это был твой брат.
Теперь бери меня в законный брак.

– О, долго была у него ты в рабстве!
Теперь не мешает он нашей страсти.
Улыбнись, подставь мне губки свои.
Возьму тебя, увезу с Москвы.
Она ведь поле гульбы и брани.
В могилу здесь сводят девушек парни.
И только пули свищут по ним.
В этом поле любовь – полынь.

Лязгнули цепи, и выпал из рук
город Том Соьера Санкт-Петербург.
Ржавых гвоздей и железок в том соре
больше, чем бантиков в хоре.
«Прочь, хулиганы зубриловых скул!
Вы мне не дети, и я не Джамбул!» –
так я в пустых коридорах каникул
скверной цитатой воскликнул.
В фартуке белом и в валенках негр
утром воскресным метёт пыльный сквер,
фыркает шлангом, кусты поливая,
сленгом бубнит заклинанья:
«Пусть зеленеет на дикой скале,
пусть он летит на безумном коне,
вслед вам осклабься бешеным ликом!
Сорри, донт меншн ми лихом!»

Комсобежец, горбеженец, соцрenegат,
моя прелесть, как черви в стихах:
её серьги висят до колен иногда,
как тяжёлые пики в степях.
На рассвете ей регент принёс чертежи,
жертва лжи, шантажа и интриг.
Подписать интерьер приходские тузы
приложили труды и дары.
Комсобежец, горбеженец, соцрenegат
приложили печатей круги:
на плече, как серьга, суррогат серебра,
на запястьях живые рубли.
На рассвете шуршат ксерокопии смет:
поколения призрачных цифр.
Ну и цирк, значит риск: балансирует смерть
в застеклённых глазах её искр.
Это золото всё, словно черви, я вру,
ударяясь о грани стиха.
Благочестие в жёстких ладонях я тру
в порошок золотого стекла.
Бижутерия, мелкая дрянь, ерунда,
воск конфессий, газетный свинец –
всё течёт – и госбеженец, соцрenegат,
и прочьвечнобеглец – и смеюсь...

Пой в гостинице, улыбками встречай,
вылей жиденький рассвет на санный путь.
Исполкомовскую покажи скрижаль,
где хорьки с портретов сами воду пьют.
Покажите мне кессонную болезнь.
Вы хорьки. И это сонная болезнь.
В ночь под Сретенье, под утро из пурги
встанет Харьків сонной харей на пути.
Стоит фраер на Основе, как всегда,
как обычно, рожу вывалял в муке.
Как печальная снегурочка, седа
его бабушка с гостинцами в мешке.
Как обычная символика смурна!
Пой в гостинице, улыбками встречай.
Серлце радуй мне приветами ума.
Исполкомовскую покажи скрижаль,
где хорьки сидят и сами воду пьют
со своих портретов. Ну и хорошо!
Из пурги сифонь под утро санный путь,
жидко лей, но, как обычно, широко.

Над водокачкой вьется птица
И оставляет в небе след.
Слоится воздух, даль слоится,
Просвет-туман, туман-просвет.
Такое утро, что невольно
Покажется, что ты и сам
Слоишься странно и раздольно,
Подобно рощам и лесам.
И если в этом только дело,
То я готов слоится так,
Чтоб осень сквозь меня смотрела,
Я для нее воздушный знак.
Я эфемерен – капля жизни
Во мне струится и парит,
В произвольном эгоизме
Меня чувства, мысли, вид:
Вот я ребенок, вот подросток,
А вот мужчина, вот старик,
До безобразия, но просто
Слоится жизни чистовик.

От колокольни чистый звон
Скользит вдоль окон.
Спать слишком долго не резон,
Спи, лежебока.
На вербных почках серебро –
Накрапы воска.
Ты жизнь моя, мое ребро,
Зари полоска.
Молились звезды за тебя.
Молитва длится,
А разве можно не любить
Всю ночь молиться.
Светает тихо на душе
В святую Пасху.
И воскресает мир уже,
Сменив окраску.
Мнит колокольня, что сейчас
Узрит и Бога.
Он сотворил ее и нас,
Спи, недотрога.

Листья в иголки сжав,
Ель не сбросила их –
Этот зеленый сплав
Напоминает стих.
Звездный на всем закон,
Света и тьмы печать –
Смертному не дано
Больше, чем надо, знать.

Витражи пожелтевших деревьев
Отражают рассыпчатый снег,
Первый снег – он не знает старенья,
Вроде был он, а вроде и нет.
Мимолетное это мельканье
Исчезает вдали без следа,
Хорошо, что не знает отчаянья
Белоснежный полет в никуда.

Не тяжело, не плохо,
но все как есть, так есть,
меня настигла весть,
что эхо – свет от вдоха.
Так кто вздыхает там,
на небе лучезарном
о промысле базарном
земли, где жил Адам.

В лучах заката на вершинах гор
Деревья оголенные светились.
Они за нас или за себя молились,
Вобрав в себя синюющий простор.
Мгла на сады набросила накидку,
Но было на душе моей светло.
И облако по небу вдаль текло,
Как будто Бог тянул его за нитку

Божья коровка
Пасется на свежей ромашке,
Захочет, взлетит, а нет, попадется еще.
Чувство свободы присуще и малой букашке,
Я же без денег к свободе
Лишь в мыслях своих приобщен.

А женщины иные существа.
Переселенье душ от них зависит.
Их магнетизм – система тех трансмиссий,
Что нас раскрутят и приблизят,
И растворят во имя торжества
Своих натур надменных и простых,
Но в глубине их душ такое скрыто,
Что золотая рыбка и корыто –
Проекция их помыслов и быта...
А над Невою разверзнуты мосты

О том, что чую, тоску врачуя,
хоть и замедленно, но все ж, скажу –
я лишь соринка в глазу Господня,
виденье странное, но и сегодня
торчу в зрачке его, в ушах жужжу.

Сегодня реки повернули вспять,
Лил дождь при ясной солнечной погоде,
Разладился то ль болт, то ль винт в природе,
Ползучи твари начали летать.
И сердце отчего-то справа билось,
Корнями вверх легко росла трава.
Кто перепутал мысли и слова,
И отчего все черное светилось?
Зачем иголкой хвойною в лицо
Земля родная колит это небо?
Разлука нас расставила нелепо –
Не разорвать незримое кольцо.

Другу

Рыжий кот – уж лучше бы собака,
Тополь за окном – уж лучше б ель.
Погружусь в пространство Пастернака,
Выпью «Гжелки», вспомню славный Гжель.
Сквозь бутылку очертанья штофа
Проступают сквозь течение лет.
Жизнь моя смиренная Голгофа
И на счастье порванный билет.
Рыжий кот – уж лучше бы собака.
В дверь звонок. Ко мне вошел поэт.
Отложу на время Пастернака,
А Охупкин друг мне и сосед.
Государство к щедрости не склонно,
Пенсию зажал в кулак минфин.
А Олег спустился с небосклона,
Словно ангел или серафим.
В нем живет небесная основа,
Возвращенный шелестит Плутарх.
Между нами расцветает слово,
Пчелы собирают сей нектар.

Невский в синих прожилках огней,
Дождь цветной надо мной пролетает,
В электрических каплях мелькает
Отражение прожитых дней.
Я замру. В наступающей мгле
Не себя ли сквозь годы увижу,
Неуступчивый мальчик все ближе,
Все спокойней подходит ко мне.
Он не знает, что станет со мной –
Вот столкнулись случайно на Невском,
И в молчании строгом и резком
Разошлись – только жизнь за спиной.

Мы идем, а наши тени
За спиной былых утрат
Гулко бьются о ступени,
О холодный блеск оград.
Воскрешает память зорко
День, в котором я и ты
Под таинственное горько
Окунали жизнь в цветы.
Я движением ладони
Трону руку. Помолчи.
Я доволен своей долей,
Так доволен, хоть кричи.

Природа – Бог, а мы его свидетели
И как я мог забыть, что нас отметили
Рождением на солнечной земле.
А Бог кроит в незримом ателье
По форме тела души для людей,
Для рыб и птиц, деревьев и зверей...
А общая душа переливаясь,
Живет во всем, наивно удивляясь,
Что микромир космичен не с проста,
В нем атомы, дизайн и пустота.

Тело музыки – звук,
А душа – очертание звука.
И бессильны прогресс и наука
Расщепить этот круг.
Звук по воле творца
Одевается в букву и слово.
Присмотрись, как мерцает основа –
Звуковая пыльца.
Звук слетая с небес,
В небеса устремляется снова –
Вот и строчка молитвы готова:
Осень, озеро, лес.

Вон ворон черный – черный ритм,
Вон чайки светлое паренье,
Из тела с болью лезли перья,
Но цвет о многом говорит.
А на земле иной уют:
Все травы зелень излучают
И жизнь спокойно изучают,
И всем ветрам поклоны бьют.
Смиренье трав и птиц галдеж
Меня волнуют то и дело –
Так на доске рисуют мелом
Знак бесконечности, и что ж:
Вон птица черная летит,
Вон птица белая мелькает,
Та и другая в миг растает.
Но цвет о многом говорит.

**ИЗ КНИГИ «ИМЕНА СНЕГА,
ИМЕНА ДОЖДЯ»
(Стизи 2003 года)**

* * *

Говоришь, у тебя — жизнь,
а у меня — мышь
ест под полом вчерашние крошки,
и я не зову кошку,

моя мышь шуршит и скребет,
моя мышь все время грызет,
и время от времени
я собираю эти огрызки времени:

в одном я раскладываю пасьянс,
который не может сойтись,
в другом — уже не моя
а чья-то другая жизнь —

там слепая женщина вяжет паутину,
тонкие пальцы, капли-узелки,
дальше — то ли пепел,
то ли шерсть мышиная
сыпется сквозь щели
лодочки-руки.

* * *

Бог кричит в белый рупор
засыпая снегом дорогу,
как его услышать
в этой ужасной пробке,
где стоп-фары машины —
красные глаза,
и нога на педали тормоза.
Тяжелый снег липнет
к каждой фразе,
падает в лужи снаружи,
две школьницы
в зеленом пальто и красном
переходят дорогу —
такие живые огни светофора:
ничего не запрещают,
но и не разрешают.
Я включаю приемник,
там говорят о пробках,
расставленных будто паузы
между словами города
теплым дымом
летящими к небу.

В НАШЕМ ДОМЕ 14 ЭТАЖЕЙ

Сижу дома, слушаю радио Эрмитаж,
лифт медленно поднимается
мимо моей квартиры
на пятнадцатый этаж:
над моей головой
сегодня вечеринка ангелов,
в лифте едет падший ангел,
его крылья перепачканы смолой
и похожи на кожаный рюкзак,

вместе с ангелом девчонка
он снял ее всего лишь за
три сотни на Испытателей —
она обещала ему небо
полное белого снега,
похожего на
ангельский пух,
летающий мимо моих окон,
когда наверху пляшут ангелы
и захватывает дух.

* * *

Старик топчет ногой пустую банку
из под кока-колы,
исполняя осенний танец нахождения банки,
превращая ее в блин,
пустота выпрыгивает из темной прорези,
бежит в стороны,
хватая за штанины прохожих,
пустые пивные бутылки стоят дороже,
но они тяжелее:
пиво сменяется воздухом,
воздух сменяется пивом,
пустота исчезает, но не навсегда,
другое дело — битая посуда:
в детстве я собирал на пляже
стеклянные осколки,
которые облизала вода —
зеленые и коричневые
следы разбитых бутылок,
не ставших пустыми, но чудесными
как большая серебряная медаль
под ногами старика,
изгоняющего пустоту из банки...

Вокруг него становится все больше
бездомной пустоты,
прозрачной как осень,
где он заканчивает танец,
жестянку поднимает,
уносит.

О МАЛЕНЬКОЙ КНИГЕ

в этой маленькой весенней книге
нет сложных слов
все предельно просто:
имена воды снега
звезд неразличимых в телескоп
и песни которые слышишь только ты
я не придумывал ничего
только записывал веткой по песку
болтовню ручья
гул огня в моей котельной
и в абсолютной горной тишине
шум собственной крови

в этой маленькой весенней книге
нет поставленной в изголовье
слепоты Борхеса
летающего на воздушном шаре
и глухоты Бетховена с говорящей тростью
ее можно читать
загибая страницы как пальцы
не спрашивая куда исчезает ладонь

в этой маленькой весенней книге
слова распускаются словно цветы
новые вещи появляются в листе
только ходи собирай
собственные воспоминания
совершенно неожиданные
юркие как ветер
история продолжится историей
словно поезд с разноцветными вагонами
в одном из них мы едем
смотрим в окно
на дерево нашей беседы
разрастающееся в разные времена:
уже птицы свили гнезда на ветках
а мы никак не можем закончить
цепляемся слово за словом
о чем говорили уже и не помним

* * *

Хороним одного за другим —
в морге холодно,
вместо слов — дым,
выходим курить на улицу,
смотрим в землю —
занозы в глазах
оставляет колючее небо:
плотник его не шурился,
тем более, не полировал,
опилки снега
тают на руках...

Другое дело —
гроб нести в машину,
из дома мертвых прочь
в последней лодке
плыть по реке
неведомо куда.

* * *

На ветру колышется репейник,
и подсолнух головой качает —
он не станет нашим новым солнцем
и умрет еще до снегопада,

пыль садится на большие листья,
лепестки его — живое пламя,
сотни глаз его на небо смотрят,
а не на дорогу под ногами,

ну а мы шагаем по дороге,
шелуху от семечек бросая,
как слова пустые между нами,
и подсолнух головой качает.

* * *

У нашей школы было два крыла,
будто она летать могла,
в правом — классы, столовая, спортзал,
а в левом — сплошная мгла:
от всех дверей потерялись ключи,
кричи не кричи — в стене кирпичи.

У нашей школы было два крыла,
правое крыло — полное тепла,
а в левом крыле — пустой коридор,
по паркету ветер гоняет сор,
в туалете медленно капает вода,
или кто-то ходит туда-сюда.

Нам говорили, что школа — дом,
и мы по-прежнему в нем живем,
сидим за партами в левом крыле,
тетради в клетку на каждом столе,
и доска перед нами словно окно,
где про нас показывают кино.

* * *

Когда я заснул — не помню,
когда я проснусь — не знаю,
у соседей собака лает,
и кто-то шуршит в сарае.

Трава на тропе примята,
а в поле прибита ветром,
солнце лежит на ветках
затертой медной монетой,

приносит сосед опята,
желтые листья в грибах,
и темнеют черничные пятна
вместо слов на его губах.

Ещё не будучи автором
Данного восьмистишия,
В холодный парк Авиаторов
Пришел я. Он стал чуть выше

С тех пор, что я был студеном.
«А где ж листва твоя прошлая», —
Вот так я спросил у дерева, —
«И корни мои?» И вот что...

Жизни вымученный жгут
Расплетается капризно...
На помойке что-то жгут.
Разный хлам.
Быть может — письма.

За окном уже зима.
Дым со снегом тянет в окна...
Дай мне Бог сойти с ума.
Распадаясь на волокна,

Обнажая корни слов,
Дни — фиктивное начальных
Строф, невыверенных снов —
И узлов, уже случайных...

Возле дерева постой.
Перейди к другому.
Под деревьями не столь
Хорошо, как дома.

Вон их два, четыре, пять,
А вдали — шестое...
Не пора ль учиться спать,
Как деревья — стоя?

Звезд целительная дрожь.
Тихий свет напротив...
Потерпи: пройдет и дождь.
Как и всё проходит.

СТАНСЫ К ЛУНЕ

Здравствуй, милая! Ну, что:
С Новым годом?
Я б налил тебе чуток,
Но природа

Так тут лихо всё, за нас...
Прах, коль сведущ!
Но — и то: случись нам власть,
Мы бы... нет уж.

Сам себе плесну — и спать.
Ох, как мало!!
Здравствуй, полная! Опять
Нагуляла?

Но... ведь мне их не крестить?..
Сплавить Солнцу.
А верней всего (прости!..)
Рассосется.

Вон, глядим на календарь, —
Видишь? — «С Новым»!..
Что ты бледная? Не я ль
Диким словом?!

Полно, мышка, всё мурня:
Птички... мошки...
Ты — единственный у меня
Свет в окошке.

Завидной и прочной дождавшись безвестности,
Промерив клочок, что возделать осталось —
Обрамить, как память... Но даже и это всё
Пока не усталость.
Устал — лишь считать, кем не стал, как в чем выглядел,
Зачем не остался и с кем чего стоил.
Овчинка — бесспорно, не стоила выделки!
Но кто бы и спорил?..
В заветно-искомом проспавшись безмолвии,
Раскаившись в смыслах, изверясь во фразах —
Не жав и не сеяв, обрящешь над кровлею
Овчинку в алмазах.

НА СКАМЕЙКЕ ОКОЛО ИНЖЕНЕРНОГО ЗАМКА ЧИТАЮ В ДОЖДЬ ЗНАМИТОГО ПОЭТА ЭПОХИ ТАН

Зеленая скамеечка цепная
И розового пластика, как парус,
Над ней навес. Как странно я сижу:
Я лишь присел перелистать Ван Вэя —
Тут дождь — и мне не встать. Легко колеблем
На крашенных цепях (как кот ученый),
Могу читать: лишь в этом обретенье
Тех связей, что отрезаны дождем.

Ты уронил свой флаг. И я топчусь,
Дурак, над ним, а мимо чешут взводы
(поротно), и ращу слезливых чувств
Посильный куст, и червь слепой свободы

Мне делит пульс... и темы дольных благ
Внушает мне... Сколь (внешне) благородно
Ты б не ушел, ты — уронил свой флаг.
Так пусть он — на портянки! Всем. Поротно...

Какое — «всем»?!. Он будто бы — из тех,
Что побросают грузно к Мавзолею,
И — строим прочь, снискав живой контекст,
В котором всяк ценнее и целее

Себя единого?!. Пока в строю.
Пока нога дробит, во славу павших —
Победу злейших. Я же — знай, сную
Над куцым этим... Мне — ни шагу дальше.

Ни звука... А тебе?!. Уже равно ль,
Кому, в последний раз кивнув небесем,
Клочок земли расцветил?!. Ни пароль,
Ни отзыв твой отныне неизвестен...

«В Начале — Слово»... Кто и чей сколь враг
(поротно; иль — «по личным»), мне — пустое.
Себе не друг, я — подхватил твой флаг.
Ведь ты мне не надышишь — в спину! — строя?..

Труд — не тяжелей, чем скинуть ношу,
И — не с тем, что сильно тяжела.
Вслед не кинусь — но и тень не брошу,
С кем бы ты здесь мимо не прошла.

Подойди, — одно услышишь: «Здравствуй!
Видишь, как изрыт корнями склон,
Где стою безлистый и бесстрастный,
Ибо ты и осень — мне закон».

О чем я спорил?!.
(Нёс же ведь — сущий бред!..)
Ушла. (Была ж! Вне и ближе смыслов!..
Подать рукою!..)

Одно я понял:
Счастия — точно, нет.
Несчастье есть. Зато такое!.. Такое...

Сегодня — к исповеди,
А завтра — в стаю?
Глазами ввысь поведи —
Там что блистает?..

Не тот сугроб на пути...
Влезай! — о чем ты?..
Сегодня — к проповеди,
А завтра — к черту.

Сам вижу:
Край мне! Не сдюжится!
Всевышний!
Дай же мне мужества!

Чем вытрешь
(как?..) эту тушь с лица?!.
Всевышний!
Дай же мне мужества!..

Одна из праха,
А та — лишь знак.
Ноль страха!
Дай мне лишь мужества!..

Сам видишь:
Падают... кружатся...
Забывать их?..
Дай, Боже, мужества!..

ХАЛУПОВИЧУ В. — В ИЗРАИЛЬ

*«Чтобы распутица ночная
От родины не...»
Александр Блок*

Рассвету — то тлеть, то праздновать
В немывтом моем окне...
Здравствуйте, Вадим Абрамович!
Что это Вас — ко мне?..
Простите, что слаб закускою,
Что сам не ахти — предстать,
Что водка (с названьем: «Русская»!)
Дает себя, стерва, зная.
И — строчки: не распадутся ли,
В расейский ринувшись пляс?..
...Сегодня день Конституции.
Третьей уже, при нас.
Впрочем, себя ль обманывать
Этими «нас» да «при»?
Поэту всегда их — мало, ведь!..
(Классика! — хоть умри).
Так рад я Вашему голосу,
Что прочее — трын-слова!..
Слова и слова... Отколетса,
Продышется: «самовар»...

Такое тут эхо странное —
Об третий-то о Закон.
Вы молвите: «Свет за ставнями...»,
Привнемлется — самогон!..
Ревнует к чему? Пугает ли?
А то и — куда зовет-с?..
Слова, лишь слова (по Гамлету;
Где это звучит, как words).

Так лучше без них. Нам — мало их
Для всех наших тяжб и кривд,
И — нам ли кого обманывать,
Сюда подключив иврит?..
...Живем — кто всяко, кто средне мы,
Но помним, латая щит,
Что чаша (всегда — последняя!..
К родине прилучит...

Дирижёр, как скульптор глину,
месит воздух, мнёт руками.
Музыкальную картину
не увековечит камень.

Музыка – сиюминутна,
на твоих глазах творится,
ни повторно, ни попутно –
никогда не повторится.

Этот ход её, движенье,
заполнение пространства,
из молчанья превращенье
в говорящее гурманство.

И потом, припоминая,
я вспугнуть её боюсь,
как грозу в начале мая,
как сирени влажный куст.

3 декабря 2001

Воспоминание о Крыме

Утром голову в окно:
как там море?
Ослепительно оно –
дым на шторе.

Море синее огнём
синим пышет...
Кипарис торчит копьём
из-за крыши.

Черепицы выгиб крут,
терракота,
а над крышами плывут
пароходы.

Дикий берег сплошь из скал,
обелиски.
Граф уехал, ускакал
по-английски.

Бросил море и дворец,
львы уснули,
из бойниц летит скворец
быстрой пулей.

Я живу с эпохой врозь,
не прагматик.
Пережил и гнев, и злость,
баста – хватит.

Крым нам дядя обрубил,
скал террасы.
Тот, который всем грозил:
«Педерасы!..»

Всё же Русское оно,
наше море.
Рано ль, поздно будет дно
в этом споре.

Пусть стихи про Крым живут
жизнью частной,
блатари стихов не чтут
и начальство.

Облака пройдут, закрыв
скал обломки,
и предьявят счёт за Крым
нам потомки.

Вот и снится мне оно
ночами
то забытое окно
изначально.

31 июля 2002

Я думал, ты ещё жива
и я с тобою разговаривал,
а ты была давно мертва,
рос над тобой шиповник заревом,
шёл без тебя над крышей дождь,
листву в деревьях выворачивал,
и уходил незванный гость,
и свои контуры утрачивал.
Неправда! Ты ещё жива
пока я жив, пока я думаю,
ты лишь в одном сейчас права:
все наши встречи всё же умерли.

30 июля 2000

Воспоминание о Блоке

Сияй, сияй, Преображенский
собор с златою головой,
напоминай про образ женский,
не позабытый им и мной.
Там у церковного придела,
где от лампадок бьётся мрак,
о, сколько, сколько пролетело
мятелей, вихрей, передряг.
Ему там встречи назначала
морозощёкая зима,
и муфтой, бёдрами качала,
и сквозь снежки «Люби!» кричала,
навек, на жизнь сводя с ума.

24 июня 2002

В нетях и всеяx ближних и дальних
за лето выцвели флаги в купальнях
и добела обесцветилось небо –
слепо, нелепо.

Жарко и душно в лесах и болотах,
дачный сезон садовода в заботах:
пруд без воды, пересохла канава,
нету халявы.

Воздух нагретый – тяжёлый, как пиво,
густ, неподвижен, безвкусен. Лениво
плаваются, пахнут гудроном асфальты –
мягкие скальпы.

Пол-Петербурга съезжает к болотам,
к грядкам своим, торфяным огородам,
ездить в набитой битком электричке
стало привычкой.

Чтобы там что-то срубить и построить,
влезть бы в вагон с топором и пилою,
к месту добраться, доехать без боя,
даже бы стоя.

Знал бы – икал бы всю жизнь губернатор,
как вспоминает толпа его – матом
кроет в вагонах, потом на участках –
солону, часто.

Катится поезд сквозь лес и сквозь лето,
воздух прессуя своим силуэтом,
лбом пробивая пустот коридоры,
полости, поры.

Воздух прозрачной желе с серебринкой,
ткни и останется дырка пробиркой
на глубину распрямлённого пальца,
вмятина с фальцем.

Едешь и строишь планы по силам:
ветер прибьём к деревянным стропилам,
небо для крыши нарежем пластами,
выстелем сами.

Только доехать бы до садоводства,
только б дорваться до первоходства,
вырубки леса, валки, корчёвки,
в елях ночёвки.

Вырастут после и сад, и шиповник,
может, счастливым тут станет садовник,
в каждом из нас ведь творец и художник,
выпал бы дождик.

19 мая 2002

Гаванская улица – улица поэтов,
тополя в начале, тупичок в конце,
сколько здесь блондинов, сколько здесь брюнетов,
лысых и кудрявых с ямбом на лице.

В доме номер девять королева слова
Нина Королёва счастливо жила,
по ночам беседы мудрые, как совы,
до утра кружили вокруг её стола.

Приезжал, бывало, Ося ненароком,
рыж ещё и молод, брал велосипед,
чтобы ночью белой на асфальте мокром
оттиском резины свой оставить след.

А за тридцать третьим домом, за аптекой
пьяный королевич – муз любимец Глеб –
разрушитель судеб, выпивоха века,
выпекал из рёва свой нелёгкий хлеб.

Гаванская улица, наш «совок» античный,
линии залива каменный изгиб...
На пересечении Шкиперки с Наличной
Александр Морев вглубь асфальт прошиб.

Гаванская улица – острова примета
и дыханье города, близкого к воде,
здесь соотношение жителей-поэтов
к единице площади выше, чем везде.

Гаванская стелется нам транзитом торным,
кто б куда не ехал, кто б куда не шёл.
Гаванскою ходит ваш слуга покорный,
ваш островитянин Толя Домашёв.

Гаванская улица линий всех милее,
моря тут не видно, а оно кругом,
чайки над трамваем, над дворами реют,
кораблями, морем дышит каждый дом.

Повторив изгибы красными боками,
вдоль по ней трамваи пять и двадцать шесть
навсегда исчезли вместе с номерами –
что-то возрастное в этом тоже есть.

25 июля 2002

ГРАЧИ В ПОЛЕТЕ

Валерию Мишину

 Мартовские коты
 на стреме.
 Грачи в полете.
 Города и веси
 мелькают
 за окном вагона.
 Мир
 вокруг нас
 кружится.
 Объект
 сменяется субъектом,
 и смех сквозь слезы
 заполняет зазор
 между прошлым
 и будущим,
 между временем
 и пространством.

 Вот один барин
 жил-жил,
 надувался-надувался,
 пока не лопнул.
 А наследники остались.

 Вот один обыватель
 разбогател
 и стал политиком.
 Костюм новый,
 автомобиль новый,
 ботинки тоже новые.
 Говорят ему:
 – Господин.
 А он в ответ кивает
 да так ловко,
 что все только диву даются:
 надо же, обыватель, а как кивает.

 В Швейцарии мало швейцарцев,
 во Франции мало французов,
 в Москве мало москвичей,
 в Петербурге – петербуржцев.
 Как мало нас осталось.

 Выйдешь из небытия
 и диву даешься –
 все как во сне:
 луга и долины,
 реки и озера,
 море любви
 и океан ненависти,
 древо жизни
 и плоды просвещения,
 вершины искусства
 и трава забвения...
 Спи спокойно,
 дорогой товарищ.

 Образы и образа,
 точные координаты
 и серые кардиналы,

ложь во спасенье
 и спасенье утопающих,
 вера, надежда, любовь,
 и сомненья,
 сомненья,
 сомненья...

 Говоришь ему:
 - Раскрой свои карты.
 И он раскрывает,
 раскрывает,
 раскрывает...
 Ну, просто остановиться не может.

ПРИТЧА
 Один поэт и один художник так долго думали
 о мгновенном и вечном, что умерли.
 Сила их мысли была столь велика,
 что хоронившие их тоже стали думать
 о мгновенном и вечном и тоже умерли.
 А хоронить было некому.
 Такова сила искусства.

ИСТОРИЯ
 Один поэт и один художник
 бросили пить, и так им стало скучно жить,
 что они умерли, а потом воскресли,
 но их никто не узнал.

СЛУЧАЙ
 Один скульптор изваял статую Свободы
 и повесил на нее табличку «Свободу – статуе».
 Пришлось отправить статую
 на необитаемый остров,
 где она и стоит до сих пор. А скульптор умер.

СКАЗКА
 Один художник нарисовал золотую рыбку
 и съел ее, а косточки не съел
 и нарисовал скелет золотой рыбки.
 Художник умер, а косточки остались.

БАСНЯ
 Вот бывает,
 зароешься в свою нору,
 а потом вылезешь на свет,
 а там – мрак.

Мораль:
 не зарывайся!

ВЕНОК ДВУХ СОНЕТОВ
 Осень золотая,
 в кармане серебро,
 в небе алмазы.
 Птицы возвращаются на юг,
 люди – на север.

Вертится колесо Фортуны.

Вертится колесо Фортуны,
 и в черном квадрате
 исчезают красные кони.

Если Петров, то Водкин,
 остальное – Малевич.

КРУГИ ОТКРОВЕНИЙ

 Ходишь
 вокруг да около,
 набираешься ума-разума
 или сидишь
 перед открытой книгой,
 вспоминаешь
 о далеком и близком,
 погружаешься в былое и думы
 и того не узнаешь,
 что знать следует.
 Говорил Екклесиаст:
 «...составлять много книг –
 конца не будет,
 и много читать –
 утомительно для тела».

*«...возвращается ветер
 на круги свои».*
 Екклесиаст

Кружатся
 разные птицы
 (поди угадай,
 где сокол,
 где воробей)
 так высоко,
 что до звезды дотронься –
 и он зазвенит,
 так далеко –
 кричи - не кричи,
 никто не услышит...
 Время,
 что песок сквозь пальцы.
 Просторы такие,
 что Руси не хватит.
 Пронеслась Птица-тройка,
 промелькнул «Летучий голландец»,
 а Вечный жид, Вечный жид
 все места себе не находит...
 Мир как был,
 так и есть, –
 скучен и однообразен.
 Люди как были, так и есть, –
 докучливы и ленивы,
 ленивы и умом, и сердцем.
 Всякая тварь
 к свету тянется
 и тепла ищет.
 А человек и того не делает,
 мечется
 между пустотой и неведеньем,
 ищет свое место и не находит,
 исчезает навсегда
 и появляется ниоткуда...
 Двадцать веков прошло,
 а сколько пройдет, –
 неведомо.
 Многие
 случалось на этом свете,
 многое и случится.
 Тяжело оказаться
 в конце времен –
 тяжело и в начале.
 Все возвращается
 на круги свои,
 но что-то и не возвращается.
 Все проходит,
 а что-то и не проходит.
 Все движется –
 и ничто не меняется.
 Кто напишет Книгу книг
 или Песнь песней,
 тот не возрадуется,
 а, уйдя, не вернется.

*Храни меня, мой талисман.
А.С.Л.*

храни меня, Господь Всевышний,
в местах, где ужас и обман,
где каждый третий – третий лишний
и где восьмой от крови пьян,
где каждый первый жизни учит,
четвертый правду говорит,
где пятый пьет десятый глючит –
русалка на игле сидит...
храни меня, великий Боже,
от произвола и хулы,
от милостивых взглядов тоже,
мы грешны, слабы и малы...
мы в этой жизни окаянной,
метафизической и странной,
где смерть с косою на коне,
и где предательство в цене
затеряны как в океане...
храни меня, Господь, в тумане,
в ночи храни, средь бела дня
не покидай, Господь, меня...

с неба снег, увы, не манна
стала твердою вода
из граненного стакана
извлекаю линзу льда
а в обратной першпективе
где во фронт стоят мосты
ты мелькаешь со штативом
сделав снимок пустоты
пустота течет из крана
с трубным звуком пополам
из граненного стакана
выпью стужи двести грамм
снег скрипит как половицы
город инеем оброс
дайте мне опохмелиться
и вдохнуть зимы наркос

пять четверостиший

л.

1

пусть что-нибудь да будет от тебя
на сквозняке в шалашном рае
где мы от счастья помираем
с рублем в кармане или без рубля

2

пусть что-нибудь да будет от тебя
пусть будут это безделушка и нелепость
но эта безделушка будет крепость
и выдюжит она осаду дня

3

пусть что-нибудь да будет от тебя
тебе я говорю – “лехаем!”
мы все во сне от смерти отдыхаем
в местах иных в волшебный рог трубя

4

пусть что-нибудь да будет от тебя
волос твоих миндальный запах
стоящий в воздухе на мягких лапах
над нами приходящими в себя

5

пусть что-нибудь да будет от тебя
когда пойдем в иные веси
и даже если мы не будем вместе
пусть что-нибудь да будет от тебя...

на фонтанке дождь и лодки
на фонтанке катера
выпью в рубке рюмку водки
недопитую вчера
барабанит дождь по крыше
дождь по палубе стучит
тишиной фонтанка дышит
хитро в тряпочку молчит
с кнехта я швартовы скину
под мотора мерный стук
отвалю и тихо двину
к пряжке стало быть на юг
в створе крюкова канала
заложу на право руль
по каналу рябь погнало
за бортом уже июль
здесь на крюковом канале
между небом и землей
от голландии в квартале
чокнусь снова сам с собой
в тишине вдали от споров
от безумия вдали
близ никольского собора
ниже уровня земли

письма не римскому другу

ларисе фрумкиной

здесь не лето а зеленая зима
тополинный пух метет по мостовым
если сможешь приедьай сама
посидим накоротке поговорим

надоели всем холодные дожди
гладиолусам и макам не расцвести
приедьай но лета красного не жди
будем слушать как вода стучит о жесть

одуревшая мошка летит на свет
и лягушек не слышать... но комаров...
передай поклон знакомым и привет
я покуда слава Богу жив здоров

вот сию смотрю на сонный лес
в небесах илья-пророк гремит ведром
жизнь полна бесхитростных чудес
стоит только посмотреть кругом

а сосну наемни молнией снесло
небо раскололось пополам
как тебе такое ремесло
мне оно пока не по зубам

аист опустился на между
ласточка вошла в крутой вираж
я тебе единственной скажу
жить как мы живем большая блажь...

на огня живую красоту посмотрю
и вздрогну как там ты
подожди прервусь я на плиту
таз поставлю вскипячу воды

не окраина империи а вот...
за окном такая глухомань
здесь народ по черному живет
и ему едины инь и янь

приедьай а может впрочем я
в питер выберусь давно я не слышал
в полдень как палят по воробьям
как молчит екатериненский канал...

на неве поди барашки да волна
дождь косой на линии косой
славы лейкина не слышно ни хрена
нынче летом петербург совсем пустой

Ма – Гадан

дочери

на Синае у подножья
прозвучало слово Божье
что-то надо отвечать
в небе ласточка кружится
зной палящий негде скрыться
тяжка Господа печатать
на границе дня и зренья
пыль и зной столпотворенье
всё единому – Ему
тени букв – послы печали
голос Бога на скрижалях
алеф бейт и снова алеф
в Ма-Гадан* на Колыму
по этапам по дорогам
кто под дулом кто под Богам
а иных простыл и след
в жажде жизни в правде жажды
мы войдем к Нему однажды
как к соседу вхож сосед
в судный день у кромки жизни
где Тот Свет в глаза нам брызнет
будем все держать ответ
кто мы в творческом усилии
что мы в творческом бессилии
как исполнили Завет...

*

** Библейское название этого места, возможно, Ма-Гадан (воды доброй судьбы), где Иисус накормил многих пятью хлебами и двумя рыбами.*

и лес молчит и небо и земля
и линзы озера невозмутима гладь
молчат они свое молчанье для
затем что их коснулась благодать
им некогда вести досужий спор
о полноте того что в Боге есть
молчанье поглощает разговор
молчания высокая болезнь
неизгладимую несет печать
в леса уходим как в монастыри
учиться верить слушать и молчать
единым быть с той полнотой внутри
где ничего кроме молчанья нет
где сам собою движется песок
где хорды рыб плывут на слабый свет
и ты вливаешься в их медленный поток

сновидение

что может быть реальнее чем сон
куда ни кинешь взор со всех сторон
глаза ветхозаветные и лица
в земле обетованной снег идет
сосуд колодца пуст вода струи не льет
и в море мертвое ныряют птицы
а в небесах стада летучих рыб
в них ангелы забрасывают сети
под скрип уключин шорох или всхлип
летающих рыб в неверном лунном свете
дичок любви и дня не проживет
поскольку времени улитка
медлительна ведь время не течет
а взад вперед качается как зыбка
его баюкать не достанет слов
горят огни пастушеских костров
как маятник на нити мир подвешен
он движется из будущего вспять
и в крайней точке ты опять
туда вернешься где весь мир безгрешен...

От слухов, что весь год
вьедаются под кожу,
втеснившись вроде льгот
и в речь, и в обиход –
тошней, чем ворот жмёт, –
уже не до невзгод:
и немота гнетёт,
и безъязыкость гложет.
И лишь, как боль во сне
порой перемогают,
почувствуешь к весне,
как будто швы снимают...
И ляжка нестерпёж,
и ноша так изводит,
и тягостно...И всё ж
как бы плечо отходит.
И почка на слуху
под ветром набухает...
А всё же на строку
уменья не хватает...
Вот так и в лес войти,
что заново родиться...
Хоть тянет взаперти
аптекой и больницей.
До спазмы грудь сожмёт
от ветерка пустого...
Слезам подойдёт
врачующее слово.
Напор из-под запруд
не выдержать бумаге.
Пускай нас издадут
деревья и овраги...

НА ВЕРБУ

Бог весть о чём слова
найдут немолчным током...
Душа, как дерева,
опять в кровоподтёках.
Не скроешь: благо лет
прошло, что по осине.
Иной зарубки след
кровоточит и ныне.
Так забирает...– Брось!
Затянется – и ладно.
Но тянет от берёз
больничною палатой.
О, если б от вранья
так запекало губы!..–
Чернее воронья
обугленные срубы.
А то доймёт до слёз,
как будто виноватый,
нетронутый подрост
с дымком витиеватым.
Да затуманит взор –
взамен слезы стыдливой –
занявшийся простор
то вербою, то ивой.
Не то чтоб свет... Краса.
Свеча во искупленье.
И выдержать нельзя
огонь самосожженья.
И ветерок в укор –
всё уголёк да жалость –
от волглых дней прогорк...
Сжигающий глагол
произнести осталось.
Но не разжать уста
в день светлый воскресенья.
На Вербу. И когда
тоскует дух весенний.

Словоохотливость дождя... –
Не оборвёшь на полуслове.
Его мелодия проста.
Его надряд не портит крови.
Он если вздорит, – напрямик.
И, хоть далёк от ухищрений,
расцветивает свой язык, –
исполнен новых превращений.
Благая проповедь дождя
нароты тягостные сводит...
Его занятность не пуста.
Он дружбу, с кем попало, водит.
И на весеннем сквозняке,
и на осенней параллели –
на паузах в одной строке
сыграет всё, что вы хотели.

Бывают дни – не дай вам боже...
Как головнёй, дымит снежок.
И все ругательства похожи
на инвентарный номерок.
Чернеет небо, точно крыша
оставшаяся от жилья;
и осень нас уже не слышит,
вся прогоревшая дотла...
Сырое дерево за душу
цепляется, как инвалид;
и всё, что предвещает стужу,
стыдом лишений в нас болит.

Олегу Охупкину

Ты из немногих. Из людей.
Что может быть тоски твоей
печальней, неисповедимей?
Что нас связало бы прочней –
конец времён, начало дней?
Бог весть. Но с пепелищ родимых,
как от печурки без затей,
едва потянет зябким дымом
уже чужим, но чем-то милым... –
пропащим душам двум теплей.

*Давно завидная мечтается мне доля.
Александр Пушкин.*

...Безвременно забытым,
без свечки погребённым,
но только не убитым,
на плахе не казнённым, –
под тёмною крылаткой
метели беспросветной
с чуть тлеющим огарком
любви, пусть безответной, –
лететь сквозь снег и ветер,
не ведая куда...
На том и этом свете
открытые врата
в ту даль, которая...

Может, то весенние пути, –
вдруг такой тоской подуло...
Или легкомысленно: «приди!» –
напеваает ветер сдуру?
Может, это осени прогал
и извечное кочевье,
где простор и воля облакам,
и культёй гребут деревья?...
За ночь могут тяжбой извести
смутных капель звуки.
Но скажи, где мне приобрести
собственные муки?...

Моё сиротство – нечто вроде
души, затерянной в природе.
Меня смущают светляки,
огни, идущие с реки.
И, может быть, на пароходе –
подкатит жёсткий ком тоски...

*Мои глаза забыли синеву...
Иннокентий Анненский.*

...И солнце спряталось за покрывало.
Так баловня судьба не баловала.
Шла осень с непокрытой головой
в тряпичном затрапезе мимо, мимо...
И образ твой развеян этим дымом.
Омыт, оплакан, выпит синевой
небес...И вот с небес упало:
как лист, последний после бала,
срезает, некогда хмельной,
тот ветер, нервный и больной,
в бесплодном замысле забавы... –
так я кружусь над мостовой.

Дано мне лето проводить
и встретить осень...
Огонь подветренный гудит
стволами сосен.

Шумит, шумит зелёный лес,
ещё зелёный.
И воздух пробуравлен весь
иглой калёной.

И, словно чистая свеча,
сгорает время.
Как будто скинули с плеча
пожиток бремя.

Но никого не обмануть
накалом ярким,
коль скоро ударяет в грудь
остудой жаркой.

И фимиам курить как лень.
На грани лета
в столь затянувшейся игре
тений и света, –

невольню примирив с судьбой,
хотя отчасти,
осенний сумрак голубой
дохнёт из чаши.

Катится ветер охупками листьев.
Что же нам воли осенней стыдиться?...
Боли бояться, пронизанной светом
выжженных красок, притушенных крепом, –
точно подёрнутых сизым дымком
старых холстов, сыроватых притом.
Те же изломы и линии, судьбы... –
Кроме ветвей, обнажённых до сути,
всё мне мерещится, будто они
времени, места и черт лишены.
Точно свершается вечная драма.
И живописна сия панорама:
таинство жизни и смерти, возврат
к боли утихшей, что горше утрат...
Кровосмешение цвета и слова. –
Что наподобие звука пустого
глохнущих капель... Шумит водосток,
ранит увечьем осенний листок
самый последний. Единой строкой
ветер владеет, как мытарь клюкой...

ОДНАЖДЫ

Купи сосисок, сок соси,
мурлычь мелодию вполсилы,
Земля не сверзилась с оси,
никто тебя не укусил и
всё безупречно до поры,
пока ни насморка, ни хмары,
и не тревожат комары,
и ни, тем более, омары –
на ресторации в ночи
повисло честное «Закрыто»...
ты при свече, ни у печи,
ни у разбитого корыта,
хоть, может статься, не у дел,
но дел иных не может статься –
сидеть на стуле, как сидел,
и – улыбаться...

ПРОЩАЛЬНОЕ

Вите Шнейдеру

На фоне квадрата окна –
тяжёлый квадрат чемодана,
и фикус, и юноша, на
последнем – очки, борода; на
часах, что содержат песок –
какое-то новое время:
тулупов, горячих досок,
колючих носков; на дворе *мя*
(меня) выгибает в дугу,
глазам предлагается призма:
темнеет крапп-лак на снегу
свидетельством канныализма,
ворона сидит на луне,
мороза вязальная спица
застряла в сугробе, и не
возможно в себе укрепиться.
И этот пейзаж (что ни «бе»,
ни «мяу» – ни бьякам, ни букам,
но – боком и ветром в трубе,
но звоном, и звяком, и звуком
паденья последней звезды
и дребезгом, скажем, трамвая,
немыслимого для езды
затем, что дорога кривая)
не то, чтобы очень достал,
но все же...Пожалуй, Вы правы –
занозит, как некий кристалл,
лишенный оправы...

Когда Ярило с древа ноги свесит,
я не замечу шалости его;
древесен лес и ничего не весит,
и я уже не вешу ничего.

Хоры пичуг, порхание харит,
и светотени как бы клоунада,
и голова безмысленно парит,
и, видимо, ей большего не надо...

КАЛЯЗИН

Конспект истории болезни.
Двойной родительный падеж.
Поди ж налево, но полезней –
в образовавшуюся брешь.

Там городок, не чист, не грязен
(его фамилия Калязин –
для посвященных, имярек –
для пролетающих в плацкарте
сквозь точку мнимую на карте),
наивлажнейшая из рек,
тасуя полые бутылки,
стремится с севера на юг,
там кобылицы и бобылки
незапылившиеся пылки,
там неразлучны хряк и хрюк.

Там все дрожит, когда на дрожках
грохочет местный почтальон,
топор кидается в бульон,
индюшки там на курьих ножках
взахлеб исследуют район,
торчит заноза колокольни
из пятки острова рябой,
и, чем вернее, – тем окольней
маршрут практически любой.

Поля цветут, но пуще – пахнут,
дым над торфяником летуч,
маячит солнце из-за туч,
пейзаж распахан и распахнут,
и каждый филин хохотуч...

Там память, будучи кривою,
своей неявною длиною
связует копчик с головою,
и остаются за спиной –

пастух в торжественной мурмолке,
ученый кот и свет на нем
и – на стволе, и на двустволке,
и небо с точечным огнем,
и все, что выше – и левкой,
и цыпы с вечным «рококо»,
и то, как дышится легко и –
не умирается легко...

Самобуйство яблок во дворе
и шепот кабачков на сковородке.
И шелестящий влажными тире,
дробящий многоточием, короткий,
как променад наперекор жаре
до речки и обратно, ливень. Лодки.
Велосипеды. Бурные амбре.
Стол на веранде, прыщ на подбородке.
Звезда над полем, Тополь на горе...

Кончался август. Начиналось то,
о чем я, как положено невежде,
не помышлял особенно, зато,
ветшая от увиденного прежде,
уподоблялся старому пальто –
хотя бы потому, что спал в одежде...

процеживало окон решето
вечерний воздух – видимо, в надежде,
что, обернувшись к завтраку просто... –
простором? простоквашей? (не поешь, де –
не женишься?) – он не исчезнет, что
все так и будет...

Так оно и было.

Вечер грядет. Сосны шумят в бору.
Звезд недостача – в небесном папье-маше
нетопыри успели прогрызть дыру,
туда и пора душе...
Вот и летит – сквозь глаз твоих решето,
чтоб на лету превращаться в нетопыря,
не то опериться мечтая крылом, не то
печалась, не то – пыля...

ПОПУРРИ

Спать пора, уснул «бычок» –
на сливной упал бочок,
спит початая бутылка,
кто-то спит в углу – не ты ль?
Кто-то выспался уже –
буквой «Г» и буквой «Ж»
ходит, бледный и кривой,
угловатой головой
задевая косяки,
прусаки и пасюки
затевают хоровод...

Половица – скрип да скрип,
повсеместный храп и хрип...

бормотанье...тишина...
в небе – тучная луна...

Что еще сказать тебе? –
Счастье, видимо, в борьбе
с невесельем от веселья
и пробелами в судьбе...

ОЖИДАНИЕ

На суку ворона каркает –
ей бы сыру и лису б...
А кухарка все *кухаркает* –
варит кашу или суп.

Кобели на суку зарятся,
козы празднуют удой...
Отчего ж никак не сварится
то, что будет нам едой?

Дятел сеет звук чечеточий,
позабыв про выходной.
Голод, стало быть, не теточий,
не двоюродный – родной.

Не пора ль и нам прислушаться,
терпеливым, как верблюд? –
может быть, готово скушаться
хоть какое-то из блюд?...

Ночь крадется к мирным жителям,
ей крадется все подряд...
Что-то больно продолжителен
этот кухонный обряд!

То ли рожи, то ли хари чьи
замаячили в ночи –
пропадут харчи кухарочки –
и ищи потом, свищи!

Ну уж, дудки! – нам не надобно
никаких таких «свищей»,
а иному были б рады, но –
щей иное потощей...

В январе негоже маяться
голодухой невесел...
Ой, глядите – пробирается
по заметинам осел! –

Бестолковый, как лимонница,
из краев каких невесть...
Может быть, не церемониться –
изловить его и съесть?...

Кто-то там над крышей кружится,
клювонос и нарочит,
за окном – капель и лужицы,
а кухарка все молчит.

Не мычит она, не телится,
ни «давай», ни «подожди» –
и опять метет метелица,
и опять идут дожди...

Ах, доколе можно верить и
ждать того, чему черед! –
кто-нибудь заходит спереди,
кто-то сзади подойдет.

Птица, гнусного названия,
проорет в испуге «карк»,
только нам ее воззвания,
как воззвания Ж. Д'Арк –

Здесь интрига не дворцовая –
незатейливей, чем гвоздь:
рассудить, кому берцовая,
а кому – иная кость...

Продолжения не следует.
Взором пламенным борца
кто-нибудь пускай исследует
эту тему до конца...

самиздат

ТЕКСТЫ • ФАКТЫ • КОНТРВЕРСИИ

ДУРДОМ

В дурдом направляюсь с двадцатью пачками сигарет «Прима». Накануне позвонил Олег Охепкин: крёстный, выручай, у меня плохо с куревом. Крестил меня в семьдесят девятом поп-диссидент Арсений, приятель Олега, в однокомнатной квартире на улице имени Третьего Интернационала (прежнее название привожу, чтобы подчеркнуть – православие не обязательно должно быть ортодоксальным), рекой Иордан служил тазик с водой, да и батюшка был евреем-выкрестом, т.е. настоящим христианином, в пост-советское время, говорят, оставил религию и ушёл в бизнес. Один из вариантов судьбы еврея в России. А Олег «задурковал». Ему всюду стал мерещиться КГБ, однажды, убегая от «преследования» (можно и без кавычек), выпрыгнул с балкона своей квартиры, благо то был второй этаж хрущёвки. С годами попадал в сумдом все чаще, а потом наступил момент, когда реже стал бывать на воле. Ходили слухи, что родственники преднамеренно сдают его, чтобы не голодал, а себе тем временем забирают пенсию. Его стали сравнивать с Батюшковым, от чего ему не легче.

– Спасибо, что пришёл, – сказал Олег и погладил меня по голове.
– Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. Хорошо, когда сын духовный и старше отца.

В последнее время он очень постарел, обеззубел, высох, плюс борода – глубокий старец, никак не моложе своего сына. Маленькие дедки – маленькие бедки, большие дедки – большие бедки.

Психбольница на пр. Москвиной – известное место, однажды попала даже в ментовский телесериал, на экране выглядит пристойней, на деле здесь всё обшарпано, запущено, убого. И относительно у Бога – рядом Троицкий собор. В палате двадцать человек. Сегодня день посещения, свидание в специальной комнате с телевизором и привинченными к полу столами на железных ножках. За столом в углу напротив пару лет назад Олега снимало французское телевидение.

– Дурные есть?

– Нет, тут в основном пьяницы, их промывают, прочистят и сразу выписывают. Есть один. Ему как нормальному разрешили работать по больнице, получает какие-то деньги, к вечеру напивается, приходит в палату и бузит.

– Стихи пишешь?

– Пока нет, мешают. Читаю Шестова. Книгу Кривулин подарил, кстати скоро у него день рождения, надо отметить, сейчас ему было бы пятьдесят девять. Мы с ним одноклассники, он – летний, я – осенний. Недавно Бобышев приезжал, подарил мне свою новую книгу. Надписал: Олегу Охепкину – поэту милости Божьей. Неправильно, надо не «милости», а «милостью», ошибся.

Пока Олег говорил, мне пришла мысль (сумдом подходящее место для рассуждений). В слове «милостью» просматривается Божья воля, Бог хотел и сделал Олега Охепкина поэтом. В слове «милости» есть какая-то отстранённость, вроде действовал и не сам Бог, а некие посредники по его милости, а Богу было, в принципе, всё равно. Прежде придерживался чаадаевской точки зрения на сумасшедствие, человек, мол, сам виноват в своих бедах, ему некогда был дан Божий разум, он его не ценит и не бережёт. Сегодня уходя из спецбольницы, сильно засомневался.

– До свидания, Олег, не дури.

– Пока, в понедельник выпишусь, принесу новые стихи.

**СТИХИ ОЛЕГА ОХАПКИНА,
записанные на диктофон
15 сентября 2003 года,
за 10 дней до его очередного
помещения в спецклинику.**

Задумчивый Ангел летит предо мной.
Он к морю, я видел, летит.
Завтра исполнено всё тишиной
И туча, как яшма, блестит.

Не знаю, что думает Ангел, но мне
Задумчивость духа ясна.
Он медленно движется там в вышине,
Сверкая, как в водах блесна.

Что видит тот Ангел? зачем от меня
Он вдаль удаляется? Что
Он хочет сказать утром нового дня?
И кто этот Ангел святой?

Июнь уж кончается. Тих изумруд
Деревьев, кустарников, трав.
Цветы на столе. Жаль, что скоро умрут.
Закон и для радости прав.

Так сам я однажды навек отцвету.
Но Ангел мой будет всё тот.
Но вот уж и он, уходя в высоту,
Задумался летних красот

Завидев цветенье. Оно отцветёт.
Всему ведь положенный срок
У нас на земле. Ну, а он прорастёт
В грядущее. Слишком высок

Полёт его в небе. Он к морю летит.
Наверное, к вечности той,
Что с неба напомнила радостный вид
Бессмертия бездны святой.

И что-то и мне на земле говорит
О вечном в смиренной душе.
Смирлен меня месяц, что куст зеленил,
Но скоро ведь осень уже.
2001

Ночная птица вдруг запела.
А на часах уж третий час.
Поёт. Кому какое дело!
Ночь наслаждается сейчас.

И я, внимая птице тайной,
Я наслаждаюсь. Пой же, пой!
Твою песню случайной
Я постигаю образ твой.

Но вот она уже смолкает.
Последний выплеск. Смолкла вдруг.
А сердце песенку слагает,
Как научил небесный друг.
2001

12

На улице долдонят синяки*,
Ведь новый год у них, они в запое,
А я не пью, народу вопреки,
Молчу и про себя, как волком, вою.

Брутальный окрик правящих ментов –
И сердце внутрь сжимается от крика,
Нет паспорта и человек – готов,
Его коснётся ментовское иго.

Они теперь повсюду за рулём,
И человек бесправен перед ними,
В стране ментовской жили и живём,
И мечено нам паспортное имя.

Не нравишься – определяют в дурдом,
А там такое навсегда навесят,
Что будет сниться мерзкий их Содом:
Ах, ты поэт – так будет не до песен!

В холодном просыпаешься поту,
Ведь скорая приснилась спецмашина.
Семнадцать лет таблетки их во рту,
И столько ж на игле – судьба решила.

А помирать придётся где? Ужель
В дурдоме? Так зачем и жить на свете?
Ведь жизнь предполагает жизни цель,
А на тебя есть дело в кабинете.

И ждёт психиатрический Гулаг
В стране неадекватного поэта,
Вот потому и залетейский мрак
Мне снится, а за что? Читай: за это.
2001

*бомжи

Итак, Святая ночь – на небе торжество,
А здесь в Руси – опять обитель грусти,
Мир празднует Святое Рождество,
А здесь у нас точь-в-точь – вертепы в Пусте.

Такая нищета, обстановка Тьмы,
Что ангелы бегут куда подальше,
И от сумы, и от тюрьмы
Не заречёшься – столько всюду фальши.

Однако есть вертепы у детей
И ёлочки ещё стоят у многих,
Святая ночь, но от волхвов вестей
Я не дождался, видимо – в дороге.
2001

Вот утро Рождества, на сердце грусть,
Былая жизнь аukaется в Праздник,
Грехи я вспоминаю наизусть.
Их много нажил я, больших и разных.

Но сам Господь мне сердце объяснит.
Он милосерд, чего не понимаю,
Ещё до Пасхи, до живой весны,
Он исцелит. Душа моя немая

Так верует Спасителю Христу,
Что в сердце радость, радость упования,
Принесена, как плод мой, к Рождеству,
Господь простит, чего не понимаю.
2001

Что-то тайное в небе вершится,
Слышно: дальний летит самолёт,
Снег на крыши попоной ложится,
Ангел тайно о Боге поёт.

Кто-то свет в темноте выключает
И уходит в объятия любви,
И душа в тишине замечает:
Парки вяжут обрывки судьбы.

Сердце слушает ангела тайну,
Что поёт он в ночной вышине,
С неба брызжится свет неслучайный,
Муж в соиты прижался к жене.

В небе тайна любви и наитья,
Час ночной тишиною нашёл,
днём объявят планеты события,
А пока – на душе хорошо.

В небе ангел свободный летает,
Видит он, и задумчив и тих, –
В небе вечная тайна святая,
И приходит таинственный стих

Прямо в сердце ночному поэту.
Ангел тайно о Боге поёт,
Жизнь вращает живую планету,
Тишь сознанию уснуть не даёт.

И творится наитие в сердце,
Бога слышит в природе оно,
И далёко-далёко до смерти
Парки, шепчущей, веретено.
2001

Как таинственен Ангельский мир!
Вот летит и возносит высоко
Ангел белый один. И эфир
Не колеблется. Быстрое око

Озирает пространство округ.
Ангел скорость в эфир набирает.
Вижу – он покровитель и друг –
Снисходительно с неба взирает.

Я молитву читаю, молюсь.
Сил бесплатных в округе так много.
Друга я никогда не боюсь.
Он ведь добрый, и он ведь от Бога.

Он ликует со мною. Любовь
Тайно в сердце свой свет захватила,
И играет таинственно кровь.
Ангел ярким мне светит светилом.

Он исполнит чем сердце полно –
Всю любовь передаст адресату.
И крыло его ввысь возвело,
И звездой вдали расцвело.
Ангел лёгкий. Он воин и ратай.

И ему улыбнулся я тут.
И рука его перекрестила.
О, любовь! Ведь тебя вознесут,
Никогда не придёшь ты на суд.
Мне блаженная высь возвестила.
2001

Прошла гроза. душистый воздух веет
И не шелохнутся листья.
Душа постигнуть таинство умеет
Гармонии и летней красоты.

Вечер летали ласточки и щебет
Их отзывался таинством в душе.
О счастье пели ласточки. И внемлет
Им сердце, светозарное уже.

Потом была гроза и вспыхи молний –
Как фотоснимки делали во тьме.
И вот так тихо вдруг. И город сонный
Прошедшее отпечатлел в уме.

Вчера в предгрозовую ночь любовью
Я переполнен был и счастье в дом
Вошло. Я все подробности припомню
При Геспера сиянье золотом.

Сгущалась пора предгрозовая,
С любимой были мы наедине.
И вот прошла гроза и – расставанье.
И я потайно думаю о дне

Любви, как Бог исполненную чашу
Нам предложил и пили мы её.
И между нами тайна, счастье наше,
И мне уснуть волнение не даёт.

Душа не устаёт в воспоминанье,
И как любили мы запечатлел
Тот снимок молнийный, когда внимая
Грозе, я зреть гармонию умел.

В природе наступила тишь и оба
Мы близостью свединены в одно.
И буду помнить я любовь твою до гроба,
Другого счастья в жизни не дано.
2001

Уже угадываю в небе
Еле заметную звезду,
Какую в дантовском Эребе
Злой мрак донныне не задул.

Вдали уж август с звездопадом,
Успенский поздний карантин,
А там – сентябрь с златым отпадом,
С отлётом летних каватин.

И угадать в ночи пытаюсь,
Что будет в августе ночном,
Я думы долгие читаю
На тонком холодке речном.

Течёт неясная прохлада,
Горит полночная звезда,
И тьма из дантовского ада
Уж обложила города.

Но злых щелей коснётся сверху
Звезды небесный, вечный свет,
И упование от веку
Уж видит с верою поэт.

Так и у Данте, где бы ни был
Он и Вергилий в злых щелях,
Всегда слегка светает небо,
Звездой держится Земля.
2001